

А. М. ГУРЕВИЧ

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ»

### 1

Кто истинный герой «Бориса Годунова»? Вопрос этот неизменно возникает перед читателем пушкинской трагедии. Уже первых ее критиков поразило отсутствие в ней ярко выраженного центрального персонажа. И они старались понять, как-то объяснить эту «странность» нового произведения [2, с. 436—459; 3, с. 240—260; 4, с. 59—73]. Подводя итоги возникшим вокруг «Годунова» спорам, И. В. Киреевский так суммировал высказанные мнения. Одни, писал он, видят главного героя в Борисе, но полагают, что он заслонен лицом второстепенным — Отрепьевым. «Нет, говорят другие, главное лицо не Борис, а Самозванец; жаль только, что он не довольно развит...». Наконец, третья точка зрения состоит в том, что главным предметом трагедии является не лицо, «но целое время, век» [5, с. 105].

Мысль о том, что «Борис Годунов» — это, в сущности, «пьеса без героя», укоренилась и в современном литературоведении. По мнению Ст. Рассадина, Борис и Самозванец в сценическом действии пьесы играют роль своего рода «калифов на час»: каждый из них является центром лишь одной из ее частей. «Четыре первые сцены трагедии, — пишет критик, — были сплочены вокруг Бориса, хотя сам он появился только в последней из них. Девять следующих сцен объединены вокруг Самозванца, хотя и он является лишь в четырех». С четырнадцатой сцены начинается третья, заключительная часть трагедии — «чистойшей воды х р о н и к а», где, как полагает Ст. Рассадин, «важно событие, а не лицо» [6, с. 25, 29].

Вообще, как не раз отмечалось в научной литературе, «Борис Годунов» представляет собой совершенно новый тип драмы, «интерес которой состоит не в отдельных „судьбах“, а в целостном ходе вещей, в логике исторического процесса как *единства*» [7, с. 234]. Действительно, события, связанные с судьбами Бориса и Самозванца, не охватывают всего действия пьесы, которая начинается и кончается без них (так, Борис появляется только в четвертой сцене и в четвертой сцене от конца умирает; Самозванец появляется в пятой от начала сцене и в пятой от конца исчезает), причем оба героя действуют лишь в немногих сценических эпизодах: Борис в шести, Самозванец — в девяти (фактически даже в восьми) из двадцати трех [8, с. 16—17; 9, с. 119—120]. Главное же — на первый план в «Борисе Годунове» выдвинуты не «индивидуальные герои», а «герои коллективные» — основные социальные силы эпохи, их столкновения и борьба. «Трагедия борьбы личностей, — пишет Д. Д. Благой, — перестраивается в трагедию совсем нового типа, трагедию, раскрывающую „судьбу народную“» [9, с. 122].

Особенно настойчиво — и вполне справедливо — подчеркивают исследователи совершенно исключительную роль народа — этого «целостного действующего сверхлица» трагедии [7, с. 235], который выступает

у Пушкина не просто как могучая и мятежная политическая сила (по наблюдениям Д. Д. Благого, народная масса в трагедии уподоблена морской стихии, океану [9, с. 123]), но и как верховный нравственный судья — носитель этической нормы [7, с. 235, 240, 242]. Однако, при всей своей потенциальной мощи, народная масса в пьесе обрисована все же как сила, не сознавшая себя политически, и в этом смысле «вполне страдательная» [2, с. 478] — своего рода орудие в руках извечных антагонистов: тиранической власти и старинного боярства (ср. [10, с. 60]).

Действительно, «древнее русское боярство» наравне с народом представлено в пушкинской трагедии как *другая мятежная сила*, как исконный враг самодержавного произвола, а в то же время — как его жертва, страдающая не только от политического террора верховной власти, но и от насильственного закрепощения крестьян. В одной из важнейших сцен трагедии Афанасий Пушкин, гневно обличая — в беседе с Шуйским — антибоярские репрессии Годунова («Нас каждый день опала ожидает,/ Тюрьма, Сибирь, клобук и кандалы/, А там — в глуши голодна смерть и петля»), с немнющим негодованием говорит и о задуманных новым царем нововведениях:

Вот — Юрьев день задумал уничтожить.  
Не властны мы в поместьях своих.  
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,  
Корми его; не смей переманить  
Работника! — Не то, в Приказ холопий.  
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване  
Такое зло? А легче ли народу?  
Спроси его. Попробуй самозванец  
Им посулить старинный Юрьев день,  
Так и пойдет потеха.

[1, т. V, с. 222—223]

Тем самым, по мысли драматурга, создается почва для единения старинной аристократии и закрепощенного народа в борьбе с самовластьем. Их союз, естественный и закономерный, чреват социальными потрясениями, смертельно опасен для сидящего на престоле узурпатора. Всем ясно: стоит им соединиться — и «быть грозе великой».

Другое дело — и тут мы подходим к центральному пункту наших рассуждений, — что союз старой знати и народа не выглядит у Пушкина сколько-нибудь постоянным и прочным: разобщенные в начале трагедии, обе силы вновь оказываются разъединенными в ее финале. Почему? Ответ на этот вопрос мы находим в первом же сценическом эпизоде — диалоге Шуйского с Воротынским:

В о р о т ы н с к и й:

Не мало нас, наследников варяга,  
Да трудно нам тягаться с Годуновым:  
Народ отвык в нас видеть древню отрасль  
Воинственных властителей своих.  
Уже давно лишились мы уделов,  
Давно царям подручниками служим,  
А он умел и страхом и любовью  
И славою народ очаровать.

Ш у й с к и й (глядит в окно):

Он смел, вот всё — а мы...

[1, т. V, с. 190—191]

Как видим, слабость «наследников варяга» объясняется не только объективно-историческими причинами, но и личными их качествами; далеко не всегда они оказываются на должной гражданско-нравственной

высоте, не всегда готовы и способны исполнить свою историческую миссию. Аристократической оппозиции, следовательно, необходимы крупные личности, вожди, способные «тягаться с Годуновым», ясно понимающие смысл происходящего, действующие смело, умно, решительно, инициативно. И хотя, по верному замечанию Н. И. Балашова, перед нами «не ренессансная (и не романтическая) ситуация, при которой должно казаться, что герой может попробовать все сделать заново», хотя пушкинская драма «показывает возможность действий в пределах жестко очерченных реальных обстоятельств» [11, с. 206], вопрос об истинном герое трагедии представляется отнюдь не надуманным, но, напротив, чрезвычайно важным, острым, животрепещущим!

Как же решается он в пьесе? Не всегда сообразуясь с историческими фактами, а порой обходясь с ними весьма вольно, поэт отводит важнейшую, первостепенную роль в разыгрывающихся событиях своему «мятежному» роду и прежде всего — своему предку, Гавриле Григорьевичу Пушкину.

Всматриваясь в текст трагедии, сразу же замечаешь, что имена Пушкиных, как правило, упоминаются в ней в определенном контексте — в окружении имен «природных князей», рюриковичей, наиболее значительных и знатных боярских фамилий.

Знатнейше меж нами роды — где?  
Где Сицкие князья, где Шестуновы,  
Романовы, отечества надежда? —

спрашивает Шуйского Афанасий Пушкин [1, т. V, с. 222], явно причисляя к «знатнейшим» родам и фамилию Пушкиных. Нечто подобное происходит и в соседней сцене, где Семен Годунов доносит Борису: накануне вечером Шуйский угощал

Своих друзей, обоих Милославских,  
Бутурлиных, Михайла Салтыкова,  
Да Пушкина...

[1, т. V, с. 226]

А в следующей сцене другой Пушкин, Гаврила, представляет Самозванцу князя Курбского — вымышленного поэтом сына «казанского героя». Все это должно создать впечатление, что между Пушкиными и Шуйскими, Пушкиными и Сицкими, Милославскими, Курбскими, между Пушкиными и Романовыми, наконец, нет, в сущности, особой разницы. Точно так же и в предпоследней сцене («Лобное место») народ, по замечанию С. Б. Веселовского, «принимает Гаврилу Пушкина как „боярина“» [12, с. 108]. Можно добавить, что автор трагедии не только не стремится «исправить» эту ошибку московского люда, но как будто даже усугубляет ее. В следующей, заключительной сцене действительно действуют бояре, Голицын и Мосальский, пришедшие в сопровождении чиновников и стрельцов расправиться с семейством Бориса Годунова, как и Гаврила Пушкин, апеллирующие к народу. И этот параллелизм ситуации должен косвенно подтвердить, что и на Лобном месте к народу обращался «боярин».

С другой стороны, используя прием скрытого противопоставления, поэт последовательно выделяет «мятежный» род Пушкиных среди прочих княжеских и боярских фамилий, настойчиво подчеркивает его особую роль, его заслуги в борьбе с Годуновым. Воротынский, скажем, представлен в пьесе человеком честным, прямодушным, но в то же время недалеким, смирившимся с ролью царского «подручника», явно не годящимся в вожди [2, с. 479]. Шуйский, напротив, умен, хитер, изворотлив, дальновиден, но очень уж уклончив, осторожен, двуличен. «Лукавый царедворец», он уже в самом начале действия оказывается скомпромети-

рованным в глазах читателя [6, с. 19—20]. О Романовых в трагедии говорится внешне комплиментарно («отечества надежда»), но сразу же выясняется, что они в опале, в изгнании и, значит, поневоле пассивны.

В сложившейся ситуации «род Пушкиных мятежный» фактически призван возглавить антигодуновскую оппозицию, стать ее душой и движущей силой. Ему прежде всего вручены автором ответственной идеологические полномочия. «Пушкины не случайно занимают центральное место в знаменитой трагедии,— пишет Р. Г. Скрынников.— В их речах поэт выразил свое понимание событий „Смутного времени“. Устами Пушкиных поэт осуждает весь режим и образ правления Годунова» [13, с. 131].

В значительной мере это действительно так. В приведенном уже монологе Афанасия Пушкина, поразительном по своей глубине и бесстрашной откровенности, развернута пронизательная, меткая характеристика тиранического правления Годунова. Показательно, что в его глазах Борис — едва ли не более страшный и последовательный враг боярства, чем Иван Грозный: жестокие политические репрессии, преследования знатных родов («он правит нами, как царь Иван...») сочетаются в его царствование с антибоярскими проектами, закрепощением крестьян. Причем, в противоположность Шуйскому, Афанасий Пушкин, обличая Годунова, не преследует никаких личных целей. Судьба боярства в целом (отсюда эти постоянные «мы», «нас», «нами») — такова главная тема его монолога (см. [10, с. 64—65]).

Любопытно, что монолог этот получает своего рода продолжение в сцене «Севск». Захваченный в плен «Рожнов, московский дворянин», яркими красками рисует разгул годуновского террора в Москве, воссоздает ту атмосферу подозрительности, сыска, доноса, насилия, в которой живет столица. «О тебе, — отвечает он Самозванцу, —

Там говорить не слишком нынче смеют.  
Кому язык отрежут, а кому  
И голову — такая право притча!  
Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.  
На площади, где человека три  
Сойдутся — глядь — лазутчик уж и вьется,  
А государь досужною порою  
Доносчиков допрашивает сам.

[1, т. V, с. 262—263]

И эта беспощадная критика установленного новым царем режима тоже принадлежит, в сущности, Пушкиным: ведь дворянская фамилия Рожновых (Пушкины-Рожновы) была одним из ответвлений пушкинского рода [11, с. 91].

Наконец, устами Гаврилы Пушкина, третьего представителя «мятежного» рода, формулируется опорный тезис произведения — о первостепенной важности «мнения народного», обеспечивающего успех антитиранического движения.

Однако политическими обличениями, идеологическими сентенциями дело не ограничивается. Особую, чрезвычайную роль в движении сюжета играют активные, решительные *действия* Гаврилы Пушкина, продиктованные свойственной всему пушкинскому роду ненавистью к тирании. Ученые не раз отмечали, что поэт преувеличил его роль в трагедии, «выдвигая в качестве главного действующего лица во все важные, решающие моменты истории борьбы самозванца с царем» [10, с. 64]. И в самом деле, это он, Гаврила Григорьевич, извещает московских бояр о появлении в Кракове мнимого царевича Дмитрия. Это он — по воле поэта — одним из первых переходит на его сторону, становится его приближенным, советчиком и сподвижником [14, с. 137]. Это он участвует в битвах под

знаменами Самозванца и сохраняет ему верность после поражения. Это он, наконец, умело и бесстрашно исполняет два ответственных поручения Лжедмитрия, обеспечивших, по сути дела, успех антигодуновского движения. Сначала он проникает в ставку Басманова и уговаривает его перейти со своими войсками на сторону нового царя — акция, предопределившая военную победу Самозванца. Затем «своей неслыханной дерзостью» [1, т. VII, с. 520] Гаврила Пушкин обеспечивает Лжедмитрию и победу политическую. Появившись на Красной площади (в Москве, находящейся в руках правительственных войск!), он ведет на Лобном месте искусную агитацию в пользу мнимого царевича. Ему удается найти общий язык с московским людом и обратить гнев народа против Годуновых. В то же время, как можно предположить на основании следующей, последней сцены, он предотвращает, казалось бы, неизбежную расправу мятежной толпы с семьей царя Бориса, ограничившись ее заключением под стражу.

И чем ближе к концу трагедии, тем явственней выступает на авансцену Гаврила Пушкин в качестве одного из важнейших ее персонажей, решительно оттесняя в тень и духовно сломленного, умирающего Бориса, и беспечно засыпающего (многозначительная деталь!) Самозванца. Если в начале пьесы интерес был сосредоточен на фигуре Годунова, если в средней части трагедии в центр была выдвинута фигура Лжедмитрия, то ее завершающая часть, ее конец явно «организованы» вокруг Гаврилы Пушкина. Напомним: Самозванец последний раз появляется в пятой сцене от конца, Борис умирает — в четвертой. Пушкин же действует (причем наиболее активно!) в трех последних сценах из пяти — высочайшая концентрация драматического интереса в столь сложном, разветвленном, многогеройном произведении, каков «Борис Годунов»!

Но и Гаврила Пушкин, подобно Борису и Лжедмитрию, тоже становится невольной жертвой разыгравшейся катастрофы. Грубые, откровенно преступные действия бояр Голицына и Мосальского, решившихся, в сущности, на публичное убийство Федора и Марии Годуновых, заставляют народ отшатнуться от Самозванца и поддерживающих его бояр. В результате сложившееся было единство обеих мятежных сил, их временный союз оказывается разрушенным. Тем самым вновь создается почва для появления тиранов и узурпаторов — таков безотрадный, поистине трагический финал пушкинского «Годунова». Но это означает, что вопрос о необходимости достойного вождя — умелого и умного лидера боярской оппозиции — вновь выдвигается на первый план.

## 2.

Вряд ли нужно сейчас доказывать, что в «Борисе Годунове» Пушкин выступает не только и не столько как ученый-историк, озабоченный тем, чтобы возможно более точно воссоздать события минувших времен, но прежде всего как поэт-мыслитель и политический публицист, как творец самостоятельной, вполне оригинальной историко-художественной концепции, не имеющей, как показал еще Г. О. Винокур, «ничего общего с Карамзиным» [2, с. 476]. Именно во имя воплощения этой концепции он последовательно и целенаправленно отбирает, группирует, видоизменяет исторические факты, по-своему расставляет смысловые акценты, а многое попросту придумывает и домысливает.

Причем в изображении своих предков поэт особенно далеко отошел от исторических свидетельств, от «Истории» Карамзина; он, если вспомнить осторожную формулировку С. Б. Веселовского, «довольно свободно и несколько тенденциозно следовал своей творческой фантазии» [12, с. 107]. Действительно, после капитального исследования нашего заме-

чательного историка легенду об особой мятежности пушкинского рода можно считать развеянной<sup>1</sup>.

Пушкины в Смутное время, по словам исследователя, «были типичными и неплохими представителями тогдашнего дворянства»; они держались в своем поведении умеренной, средней линии и ничем особенным не выделялись среди других дворянских фамилий. «Само собой разумеется, — подчеркивал С. Б. Веселовский, — что ни о какой „мятежности“ рода Пушкиных не может быть и речи. Даже Гаврила Григорьевич, который в изображении А. С. Пушкина должен был представлять мятежный род Пушкиных, в действительности был больше ловким и осмотрительным человеком, чем смутьяном и мятежником» [12, с. 119]. Нарисовав реальную историческую картину деятельности Гаврилы Пушкина в эпоху смуты, ученый убедительно показал, как далека она от воплощенной в трагедии художественской версии.

Конечно же, исторический Гаврила Григорьевич Пушкин не был лицом особо приближенным к Лжедмитрию, ни тем более вершителем исторических судеб России. «В стане самозванца, — читаем в труде С. Б. Веселовского, — Г. Г. Пушкин появляется только в Крапивне (а вовсе не в Кракове! — А. Г.), когда самозванец медленно и осторожно, хотя и беспрепятственно, шел на Москву, рассылая по городам воззвания к населению. Судя по ловкости и осмотрительности, проявленным Г. Г. Пушкиным на всех последующих поворотах его жизненного пути, он, переходя на сторону самозванца, шел в ногу с большинством людей своего круга, не предупреждая событий и не отставая от них» [12, с. 110]. Как мало похож этот портрет на изображение того Пушкина, что действует в «Борисе Годунове»!

Но и в тех случаях, когда поэт опирается на показания источников и как будто следует Карамзину «в светлом развитии происшествий» [1, т. VII, с. 115], он тоже весьма свободно и целенаправленно преобразует исторические факты. Показательна в этом отношении предпринятая им переработка *единственного* эпизода карамзинской «Истории», где упоминается Гаврила Пушкин. Лжедмитрий, рассказывает Карамзин, «избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу... Купцы и ремесленники красносельские... торжественно ввели гонцов его в Москву... шумный сонм стремился к лобному месту, где по данному знаку все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву» [15, т. XI, с. 198].

Сопоставляя приведенный отрывок с соответствующим эпизодом трагедии («Лобное место»), Б. П. Городецкий пишет: «Не показав в этой сцене Плещеева, Пушкин вывел одного только своего предка, который к тому же не оглашает грамоты, а держит речь, воспроизводящую основные моменты содержания грамоты Самозванца, пересказанной в выдержках Карамзиным» [14, с. 159]. Следовало бы добавить, что Гаврила Пушкин, вопреки Карамзину, является здесь прямо в столицу, безо всякой поддержки жителей Красного села, и что все эти изменения призваны усилить героический ореол вокруг фигуры мятежного предка поэта. Главное же — значимость этого эпизода в трагедии несравненно выше, нежели в «Истории» Карамзина.

Явно преувеличены в трагедии могущество и знатность пушкинского рода, уже в XV в. утратившего свое прежнее высокое положение. С. Б. Веселовский убедительно показал беспочвенность мнения, будто Пушкины являлись знатым родом «на всем протяжении их 600-летнего дворянства» [12, с. 91]. Именно незаметность положения Пушкиных не-

<sup>1</sup> Предложенные Р. Г. Скрынниковым уточнения и поправки (в цитированной ранее статье), если даже принять их безоговорочно, позволяют прийти к выводу, что в число опальных дворян при Годунове попали и некоторые из Пушкиных. Но это еще не дает основания считать их бунтовщиками и мятежниками.

мало способствовала тому, что их пощадил «гнев венчанный» Ивана IV. К аналогичным выводам приходит Р. Г. Скрынников: «Пушкины происходили из древней и знатной дворянской фамилии, но их род захудал и пришел в упадок задолго до воцарения Бориса. И только Годуновы да Самозванец допустили Пушкиных в думу» [13, с. 132].

Но если родовитость Пушкиных в пьесе явно завышена, то социальный статус и генеалогия Годуновых, напротив, сознательно занижены. Поэту было, конечно же, известно, что неродовитость Годунова весьма относительна, что он принадлежит пусть не к первостепенной, но к известной и видной боярской фамилии, что многие его предки и родственники играли важную роль в государственной жизни страны. И, разумеется, презрительная характеристика Шуйского «вчерашний раб, татарин, зять Малюты» весьма далека от истины [6, с. 23]. Правда, слова эти вложены в уста «лукавого царедворца», и произносятся они с определенной практической целью — прощупать, какова позиция Воротынского. Однако в дальнейшем драматург не только не опровергает этой характеристики, но, напротив, неоднократно подтверждает ее справедливость. Достаточно вспомнить цитированные монологи Афанасия Пушкина и Рожнова или же угрозы царя Бориса по адресу самого Шуйского в сцене «Царские палаты» (см. также [16, с. 41]). Формула Шуйского намертво «прилипает» к Борису Годунову. Очевидно, безоговорочное противопоставление родовитой и знатной фамилии Пушкиных якобы безродному Годунову, сомнительное с исторической точки зрения, вытекало из самой сути художественной концепции драмы.

В самом деле, посмотрим хотя бы, какова цена брошенного Годунову обвинения в том, что началом его головокружительной карьеры стали малопочтенные связи с опричниной («зять палача и сам в душе палач»). Ведь точно таким же образом началось и новое возвышение пришедшего к тому времени в упадок рода Пушкиных [12, с. 98—106; 13, с. 132—133]. Не этим ли объясняется, в частности, что действующий в пьесе Афанасий Пушкин является персонажем вымышленным? Его вероятный прообраз — Евстафий Пушкин, игравший в опричнине видную роль, — был любимцем Ивана Грозного, лицом, слишком тесно связанным с Малютой Скуратовым и Богданом Бельским, чтобы быть допущенным на сцену трагедии. Такой (реальный!) Пушкин контрастом и укором Годунову быть никак не мог и, следовательно, не был нужен поэту. Другой же герой трагедии, Гаврила Пушкин, как установил Р. Г. Скрынников, находился в близких родственных отношениях с самим Иваном Грозным (был женат на его падчерице [13, с. 133]), что, конечно же, должно было так или иначе отозваться в семейственных преданиях пушкинского рода, тем более что это обстоятельство немало способствовало его возвышению. Но подобные факты слишком уж противоречили пушкинской концепции исконной вражды тиранической власти и родовой аристократии, не вязались с картиной неуклонного падения потомственного дворянства под ударами самодержцев.

Между тем смысл противопоставления обеих фамилий чрезвычайно важен для понимания пушкинской трагедии: именно мнимой худородностью Годунова объясняется и его ненависть к потомственной аристократии, и естественность его союза со столь же неродовитым Басмановым. И если Пушкины в социальном и психологическом отношении сближены в пьесе с рюриковичами и гедиминовичами, с Шуйскими, Воротынскими, Курбскими, то в характерах Бориса и Басманова воплощен социально-психологический комплекс «нового дворянства», представлен тип людей, страдающих непомерным честолюбием, любящей ценой и любыми средствами стремящихся к возвышению, власти.

Вот почему в облике Годунова поэт сгущает черты жестокого деспота, резко усиливает его отрицательную оценку по сравнению с Карамзиным, который видел в новом царе несомненные достоинства, с уважением гово-

рил о его незаурядных государственных способностях, идеализировал первую половину его царствования. Напротив, Пушкин изображает Бориса как человека, чьи деспотические наклонности, лицемерие, притворство, холодный расчет очевидны с самого начала (вспомним точный прогноз Шуйского в первой же сцене), человеком, превратившим в недостойный фарс само избрание его на царство [11, с. 209; 17, с. 299—300]. Даже Грозный, способный к покаянию, искавший, как говорит Пимен, «успокоения в подобии монашеских трудов», даже он в нравственном смысле оказывается выше Годунова, не раскаявшегося и перед лицом смерти!

Еще более поразительная метаморфоза — но только обратного свойства — происходит с пушкинским Лжедмитрием. Карамзин не говорит о нем ни одного доброго слова, изображает его как бесчестного, беспринципного авантюриста, на чьей совести немало тяжких преступлений: развязывание братоубийственной войны, отречение от своей веры, приказ о расправе с семейством Бориса Годунова, позор Ксении. Пушкин же, которого современная ему критика (а позднее и Белинский) обвиняла в рабском следовании Карамзину, не только наделяет Самозванца многими человеческими симпатичными чертами — прямо-таки моцартовской легкостью, импровизационностью, незаурядными способностями, беспечностью, доверием к жизни, даже поэтическим даром (в этом смысле он противоположен сумрачному, подозрительному, захваченному одной идеей, одной страстью Борису), — но и старается отвести или по крайней мере смягчить выдвинутые против него обвинения.

Так, в сцене «Граница литовская» Самозванец, гласит ремарка, «едет тихо с поникшей головой» и печально восклицает: «Кровь русская, о Курбский, потечет...» [1, т. V, с. 249]. А в сцене «Равнина близ Новгорода Северского» приказывает: «Ударить отбой! мы победили. Довольно; щадите русскую кровь. Отбой!» [1, т. V, с. 257]. Лишь мимоходом затрагивается в пьесе и важнейший вопрос о перемене веры: в кратком диалоге с патером Черниковским Самозванец обещает легко и быстро обратиться в католичество весь русский народ. Но это откровенное бахвальство может быть воспринято и как элементарная хитрость — вынужденный дипломатический ход в расчете на «польскую помощь».

О прочих преступлениях Лжедмитрия в трагедии не говорится вовсе. О том, что Пушкин шел на это совершенно сознательно, свидетельствует известное письмо Н. Раевскому. Видимо, опасаясь критики со стороны своего корреспондента за отступление от исторической истины, поэт с намеренной непринужденностью говорит о «романтическом и страстном характере» своего «авантюриста», подчеркивает его сходство с Генрихом IV, присущее обоим жизнелюбие и широту натуры, а также и то, что «оба они из политических соображений отрекаются от своей веры». Добавляя, что «у Генриха IV не было на совести Ксении», поэт тут же оговаривается: «... правда, это ужасное обвинение не доказано, и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить» [1, т. VII, с. 519—520]. Но ведь точно так же не доказано было и участие Годунова в убийстве царевича Димитрия! Тем не менее Пушкин не просто счел возможным поверить обвинению, но и положил его в основу своей пьесы.

Многозначительны пушкинские умолчания в заключительной сцене трагедии. Почему взятые под стражу Федор и Мария Годуновы стали жертвами злодейского убийства? По чьей инициативе действовали бояре Голицын и Мосальский, чей приказ они выполняли? Все эти вопросы, совершенно ясно и недвусмысленно освещенные Карамзиным, остаются в ней без ответа. Очевидно, поэту важно было как-то оправдать и возвысить человека, под знаменем которого бился и в союзе с которым действовал его славный предок — Гаврила Григорьевич Пушкин.

Наконец, обращает на себя внимание еще одна любопытная деталь. Мы видели: представляя душой антигодуновского заговора своих предков, Пушкин вместе с тем подчеркивает вынужденную пассивность опаль-



ных Романовых. Между тем из «Истории» Карамзина ему было известно: в пору, когда Годунов подверг романовское подворье жесточайшему разгрому, при дворе Романовых служил Григорий Отрепьев. Спасая свою жизнь, он нашел прибежище за монастырской оградой, переходя из одного монастыря в другой. Однако же читателю не сообщается, где и как жил он мирянином; что вынудило его, полного сил и энергии юношу, откровенно завидующего бурной молодости Пимена, так рано затвориться в монастыре, хотя монастырская жизнь ему явно не по нутру. Очевидно, что поэт сознательно затушевывает ясную для него связь Отрепьева с Романовыми. Тем самым он делает Романовых как бы должниками Пушкиных, которым, по его мнению, принадлежат исключительные заслуги в деле низложения царя-узурпатора.

### 3.

Острейший политический смысл историко-художественной концепции «Бориса Годунова» очевиден. Недаром так засекретил поэт свою работу над трагедией; недаром так раздражало его непонимание друзей и доброжелателей, надеявшихся, что Борис станет поводом для примирения с правительством (ибо в глазах Романовых Годунов, конечно, был фигурой в высшей степени одиозной). В известном письме Вяземскому, признавая антигодуновскую направленность своей трагедии, которая «в хорошем духе писана», Пушкин тем не менее всерьез тревожился, что «уши» будут слишком уж торчать из-под колпака юродивого [1, т. X, с. 146]. И, конечно же, для таких опасений у него были все основания.

Дело, разумеется, не только в том, что сама тема царя-узурпатора, убийцы наследника престола, была в царствование Александра I по меньшей мере двусмысленной. Пушкину важны были не эти внешние «применения» (каких, видимо, ждал от него Катенин, полагавший, что пушкинская трагедия не для печати [18, с. 215]), но глубинный историко-политический и нравственно-гражданский смысл произведения — его *подтекст*, скрывавший в себе заряд страшной взрывчатой силы.

В самом деле, если по своему происхождению, как доказывает трагедия, Пушкины ничуть не ниже виднейших представителей потомственной русской аристократии, а их роль в низложении Годунова куда более значительна, это означает, что на опустевший царский трон могли претендовать не только Шуйские и Романовы... И совсем не случайно, что одновременно с «Борисом Годуновым» Пушкин набрасывает не предназначенный для печати, глубоко личный «Воображаемый разговор с Александром I» (его текст перемежается с черновиками трагедии [2, с. 477]), где поэт и император как бы меняются местами.

Показательна в этом смысле многозначительная, хотя и шутовская фраза из письма Дельвигу в июне 1825 г., где идет речь об избрании Романовых на царство: «Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я? ...» [1, т. X, с. 117]. В самом деле, имевшие, по мнению поэта, все права на «шапку Мономаха», Пушкины заслуживали в его глазах по меньшей мере того, чтобы занять высокое, видное положение в государстве. Между тем эпоха правления Романовых стала эпохой окончательного падения Пушкиных.

В трагедии, таким образом, был заключен прямой упрек, прямой вызов Романовым. Возведенные на престол усилиями родовой русской аристократии, и прежде всего семейства Пушкиных, сами принадлежащие к старой знати, они тем не менее продолжили антибоярскую политику Грозного и Годунова, политику, направленную на уничтожение древнейших княжеских и боярских родов, уменьшение их влияния.

Иными словами, свою ссылку, свое заточение в Михайловском поэт осмысляет теперь в исторической перспективе, связывает ее с наследственной враждой Александра Романова к Александру Пушкину — достойных и типичных представителей своих дворянских фамилий. Продолжатель политической линии Годунова, как и он, тиран и узурпатор престола, Александр Романов не мог не гнать, не преследовать потомка мятежного рода Пушкиных, хранителей духа аристократической вольницы.

Однако помимо прямых политических путей и возможностей борьбы с тиранией, полагал Пушкин, существуют еще и возможности идеологические, которыми обладают прежде всего писатели. В отличие от литераторов европейских, принадлежащих главным образом к третьему сословию и зависимых от высших классов, лучшие русские писатели в своем большинстве — сами потомки старинных дворянских родов, таланты независимые и неподкупные, которые берутся за перо не ради наживы, а ради того, чтобы высказать правду (см., например, письмо Рылеву — июнь — август 1825 г. [1, т. X, с. 139]). «У нас писатели взяты из высшего класса общества, — доказывал он А. Бестужеву, — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными» [1, т. X, с. 115].

Более того, современные русские писатели, представлялось поэту, образуют своего рода идеологическую оппозицию правительству — некоторое подобие и аналог оппозиции политической. И душой, вдохновителем этой литературно-аристократической оппозиции является он, Александр Пушкин (опять Пушкин!) — наследник традиций своего мятежного рода (см. письмо Вяземскому от 24—25 июня 1824 г. [1, т. X, с. 75]).

Этот круг пушкинских представлений, эта мысль о другой, столь же достойной форме борьбы с деспотизмом, также нашла свое воплощение в «Борисе Годунове». Г. А. Гуковский был совершенно прав, отметив особую значимость сопоставления двух типов писателя в тексте трагедии: польского придворного поэта, сочинителя латинских стихов, подобострастно подносящего мнимому царевичу похвальную оду и получающего в подарок перстень, и независимого русского летописца Пимена, смелого, неподкупного обличителя царя-цареубийцы [8, с. 45—47].

Как установлено, Пушкину было близко восходящее к Шатобриану представление о том, что в атмосфере деспотизма, в эпоху всеобщего рабства и молчания общества, на историка, прозревающего истину, возлагается обязанность обличения тирана, мести ему [19, с. 74—75; 20, с. 42—43]. Однако ненависть к царю-тирану, царю-деспоту имеет у Пимена и глубокие личные корни. Как явствует из слов Григория, в молодости он занимал видное место при дворе Грозного («воевал под башнями Казани», «рать Литвы при Шуйском отражал», «видел двор и роскошь Иоанна») и лишь во время опричнины оказался в монастыре. И, конечно же, образ опального, ссыльного литератора, скорее всего потомственного аристократа, ставшего несправедливой жертвой царского гнева, не мог не наполниться у Пушкина современным, глубоко личным содержанием. Тем более что само пребывание в Михайловском (как и ранее в Лицее) неизменно ассоциировалось в сознании поэта с заточением в монастыре [10, с. 73—75]. И точно так же, как правдивое обличительное слово заточенного Пимена послужило началом, стимулом активного политического действия, так и свободное слово михайловского изгнанника, верил Пушкин, должно претвориться в дело.

Как видим, обращение к далекому прошлому, создание романтической трагедии из эпохи смуты ни в коей мере не означало для Пушкина ухода от современности, отворачивания от нее. Напротив, сохраняя по видимости художественное беспристрастие и полнейшую объективность, он сделал все возможное, чтобы у читателей его исторической драмы сложилось впе-

чатление, какое он сам вынес после чтения X и XI томов «Истории» Карамзина: «с'est palpitant comme la gazette d'hier» [1, т. X, с. 135] — это злободневно, как свежая газета!

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Изд. 4. Л.: Наука, 1977—1979.
2. Винокур Г. О. «Борис Годунов». Комментарий.— В кн.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VII. Драматические произведения. Л.: Изд-во АН СССР, 1935.
3. Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.— Л., 1953.
4. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
5. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
6. Рассадин Ст. Драматург Пушкин. М., 1977.
7. Непомнящий В. Поэзия и судьбы. Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983.
8. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
9. Благой Д. Д. Мастерство Пушкина. М., 1955.
10. Благой Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. Изд. 2-е, дополненное. М., 1931.
11. Балашов Н. И. «Борис Годунов» Пушкина. Основы драматической структуры.— Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1980, т. 39, № 3.
12. Веселовский С. В. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.
13. Скрынников Р. Г. Борис Годунов и предки Пушкина.— Русская литература, 1972, № 2.
14. Городецкий Б. П. Трагедия Пушкина «Борис Годунов». Комментарий. Л., 1969.
15. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. IX—XI. Спб., 1824.
16. Филиппова Н. Ф. Народная драма А. С. Пушкина «Борис Годунов». М., 1972.
17. Батюшков Ф. «Борис Годунов».— В кн.: Библиография великих писателей/Под ред. Венгерова С. А. Пушкин. Т. II. Спб., 1908.
18. Переписка А. С. Пушкина в двух томах. М., 1982, т. 2.
19. Рейзов В. Г. Из истории европейских литератур. Л., 1970.
20. Фельдман О. Судьба драматургии Пушкина. М., 1975.